



## **П. ПИЛЬСКИЙ**

### **Об Антоне Крайнем (З. Гиппиус) и о нашем времени**

1

Воздушный поэт Сергей Городецкий в «Золотом Руне» как-то открыл, что наше время «глухое». Я думаю, что оно не глухое, а просто глупое.

Хорошо «глухое» время, если у всех теперь так развит слух, что не отличишь чужого от своего и живого от мертвого! Стала ужасно легкой переимчивость, и наши литературные мартышки все ходят сейчас в чужих очках, совершенно напрасно прижимая их к своему темени.

В самом деле, никогда еще не было общества, столь доверчивого и так легко убеждаемого, как нынешнее. Верят всем и всему. Как-то жалко разучились противоречить. Везде какое-то неврастеническое бессилие и истерическая подчиняемость.

Только этим объясняется жидкая, но все же широкая известность, завоеванная холопами слова, пухлыми ничтожествами и отпетыми мальчиками.

Литература последних пяти-десяти лет навсегда останется любопытнейшим временем, эпохой-маседуан\*, собравшей свои мысли, как шишки, с бору и с сосенки.

Будущему романисту, бытописателю, историку эти годы дадут неисчерпаемый материал.

У Ницше в его «Антихристе» есть интересная и колкая, острая мысль.

«Тот странный и больной мир, — говорит он, — в который вводят нас Евангелия, — мир, словно из русского романа... Про-

---

\* От фр. *masédoine* — смесь.

исходит rendez-vous отбросов общества, нервных страданий и детского идиотизма».

Разве это не про наше «сегодня»? Разве это не формула нашего горького и горьковского пятилетия? Сплелись какие-то концы без начал; следствия без причин, пришли смерти еще нерожденных.

Бердяев в одной из своих статей печалует на наш нигилизм и на подрастающее «хулиганское поколение», построившее свою жизнь и будущее на единственном принципе эгоистического самоутверждения. Но то, что происходит в литературе, хуже во сто крат.

## 2

Разве не смешны и не жалки все эти вызовы в стихах и в прозе, посылаемые Богу в тоне грубящего директору письмоводителя?

Разве не смешны все эти юридические выкрики идиотских «процеств» и безграмотных «заповедей» на дикую тему о том, что я «сын вселенной и веков»? А это упрямое воровство стилей, этот постоянный бег к какому-то призовому столбу глупости?

Это щегольство пустыми рифмами, это коверканье андреевского языка, брюсовских стихов, упрямое самоослепление, ничем непобедимая рабья привычка идти в шорах, это торжество грубости, лакейства и бездарности?

Неужели это человеческий язык у даровитого в общем Сергеева-Ценского, когда он описывает свои «колена Огромного»?

«Колена Огромного; на руках светятся жилы. Тьма кругом, и потому так ярко огненные колена. И словно из огня, — брызжут ракеты слов; мир протискивается в игольные уши и, возмущенный и тенистый, меняет краски. Серое, смятое, мутное... Треплется, как вечерние паруса над водою, а на воде стая воздушных, чуть видных, ниже янтарные четки на черные шнуры».

Что это такое, как не конвульсия истерики, не надрыв обмана и не ложь?

Неужели затем кому-нибудь может быть приятно и понятно фразерство г. Гусева-Оренбургского о том, как «...с воплем счастья слились в поцелуе два угасших мира. Серебряно-льдистые планеты полопались, как спелые почки на дне бездны, где два тусклых солнца слились в порыве страсти, как два усталых сердца. И страсть зажгла их снова. В черный мрак вселенной бес-

шумно (!) метнулись бушующие (?) вихри распавшихся атомов (!!). И нес эфир в бесконечность их содроганье, как блеск свободных свечей. В буйном весельи они наслаждались свободой, кипя, носились, не сталкиваясь, в бешеном танце, долго-долго, — пока радостное чувство распада не сменилось жаждой общення... Из кипящего хаоса возник новый мир».

Не слишком ли странны эти целующиеся миры, лопающиеся планеты, распающиеся атомы, кипящие хаосы?

И только подумать, что эта quasi-мистическая, quasi-символическая, а на самом деле просто риторическая ерунда написана, как вступление к обыкновеннейшей реалистической повестушке из зауряднейшего духовного быта...

— О, друг Аркадий, не говори так красиво!

Но главное в том, что эта чепуха, — самая настоящая, неумелая, непростительная, абсолютно недопустимая в искусстве по своей великой путаности и сугубой умышленной неясности! Но «глухоты» тут все-таки нет, ибо все это плохой сколок с г. Сергеева-Ценского, который в свою очередь во многом подчинен Леониду Андрееву. Нет, это не глухота, а нечто другое, хотя, быть может, и очень близкое к ней.

## 3

Но Сергей Городецкий не прав, обвиняя сейчас всю современную критику в повальной глухоте.

Он пишет:

«Глухое время! В глухие времена всего нужней критика. Но тщетно было бы аукаться с этой неуловимой птицей в дебрях современной литературы».

Ну, зачем же так печально?

Есть еще порох в критических пороховницах, есть еще люди. Чем, например, не критик г. Ст. Иванович?

Правда, он пишет редко, едва ли знает то, о чем пишет, но кто решится отказать ему в некоторой оригинальности хотя бы языка?

Ведь это именно он изобрел «тараканную (ью?) рать», это именно он нашел излишним согласовывать определения с определяемыми.

Правда, одна ласточка не делает весны, но разве один Иванович? Разве нет в Москве г. Александровича, а в Санкт-Петербурге — г. Абрамовича?

Как, вы не знаете господина Абрамовича?

Напрасно!

Вот, не хотите ли из его «статьи», ну, хоть об Арцыбашеве.

«Мне, — пишет г. Абрамович, — явственно (?) рисуется (!) рассказ работы Арцыбашева в следующем образе (sic!); кажется, будто бы в рыхлый и мягкий материал тяжело втискивается (??) печать художника и после примериванья (!) и обдуманного (?) выбора положений и приемов оставляет точный отпечаток идейного замысла автора.

Арцыбашев также (!) занят не самим мастерством рисунка, не самовладеющим искусством художника, а замыслом идейным. Не просто нарисовать хочет он, а, нарисовав то или другое, сказать этим то-то и то-то. Но идейность его не горящая расплавленным металлом, как у Андреева...»

Вы, конечно, скажете, что это безграмотно и не по-русски, что ничья печать, хотя бы в качестве предмета неодушевленного, прежде чем «втискиваться», ничего не «обдумывала» и ничего не «прикуривала», и что вообще так писать нельзя.

Насчет нельзя, это — кому «нельзя», а кому и можно. Но, отбросив в сторону обдумывающую печать, разве не оригинальна, не нова, не глубока и не интересна основная мысль?

Будто бы уж так легко заметить, что «Арцыбашев не только нарисовать хочет», а, нарисовав «то или другое», хочет сказать «то-то и то-то»?

Это «то-то и то-то» даже трогательно!

Здесь и убедительность, и красноречие, а Сергею Городецкому грешно петь отходную русской критике и тем более русскому искусству.

4

Однако, — если шутки в сторону, — то наш воздушный поэт прав. Ведь, в самом деле, не Абрамовичи, Ивановичи и Александровичи (имя же им легион!) представляют собою современную критику, и если они даже просто влачат в ней свое незаметное существование, то в таком случае все-таки — «хороша же, значит, современная критика».

Ах, конечно, нехороша.

Но тут-то и начинается полоса ошибок Городецкого.

Что, в самом деле, если его, этого недовольно капризничающего, «вдруг — критика» самого спросить:

— Милостивый государь, а когда же было лучше?

Что тогда? Что скажет в ответ г. Городецкий?

Вон он сердится, что «понаторевшие в критике Краны, Горны и Фельды, как слепые, ворочаются в современности». Ну, а разве раньше не оставался долгое время в критическом остракизме Тургенев? Разве тот же умница Михайловский не махнул в «Отечественных Записках» конца семидесятых годов на него рукой? Или Скабичевский разгадал Чехова, не посулил ему черта и смерть под забором в пьяном виде, а когда задумался над вопросом: «Есть ли идеалы у г. Чехова?» — то как задал этот вопрос, так и остался с этим вопросом? Наконец, были ли сразу признаны или определены Горький и Гаршин, Мережковский и Лесков, Фофанов и Брюсов? Не оставляли ли в долгом забвении и неприемности Феодора Сологуба, и разве до самого недавнего времени не смеялись над Бальмонтом?

Дело, однако, не в этом, а в том, что у нас именно последние годы выдвинули критику и дали ее голосу и новое влияние, и новые тона, и, чтобы не ходить далеко за примерами, позвольте остановить ваше серьезное внимание на Антоне Крайнем.

5

Я назвал бы Антона Крайнего историком литературы.

Под его пером «миг» умирает, чтобы войти тотчас в историческую цепь: если хотите, А. Крайний накалывает «миг» на булавку.

Надо ему прежде всего отдать справедливость: он умен, Антон Крайний, — качество, обладание которым большинство из ныне критикующих как будто не вменяет себе в прямую обязанность, очевидно, полагая, что ум для них — сверхсметное ассигнование.

Быть может, именно потому, что он умен, и еще оттого, что А. Крайний — большой скептик (по крайней мере, по отношению к нашему литературному настоящему), он всегда в своих статьях стоит не рядом с критикуемым, и даже не вдали от него, а над ним.

Впрочем, в одной из своих статей он сам сознается, что любит говорить «не о литераторах, а о литературе», которая, замечу от себя, делается все-таки литераторами. Но А. Крайний беседует «об общем уровне духа и мысли, об общем движении вперед, о росте, — о культуре».

Культуру подчеркнул в данном случае я, но сам А. Крайний ее подчеркивает везде, не курсивом, конечно, а всем, что он пи-

шет. Когда-то Амфитеатров-Аббадонна упрекнул его в том, что он верит в прошлое и не верит в будущее. Я не слежу за всеми нападениями на А. Крайнего, но, вероятно, многие упрекали его гораздо определенной — именно в приверженности к культуре буржуазной, — что было одно время модно и всегда вздорно, но верно то, что А. Крайнего не разорвать с историзмом.

Он и свой «Литературный Дневник» выпустил так же, — в последовательной исторической преемственности статей и по этому поводу решительно заявил, «что история — везде, и все в истории, — в движении, и даже последняя мелочь — и она в истории», ибо и «она может кому-нибудь пригодиться». И свою книгу он тоже считает «историчной».

Собственно, для каждого автора его книга, писанная даже в течение одного года, — уже история, а «Дневник» Крайнего велся целых восемь лет, — и, значит, в самом деле, как же он не «историчен»?

Это понятно.

Но ни для кого так не характерно это слово и это определение («исторично» = культурно), как для А. Крайнего.

Говорит ли он о «хлебе жизни», он считает необходимым напомнить, что «история — рассказ о человеческом голоде».

Пишет ли об искании Бога, упрекая в холодности к Нему даже Мережковского, и тут под его перо просится напоминание о том, что «помимо истории мира — есть и у каждого из нас своя история».

Вспоминает ли о декадентах, он и тут не может не заметить, что «чужая культура к нам не прививается», и если смеется над интеллигентом российским, то только за то, что тот воображает себя «культурным любителем искусства». Как же над ним после этого не смеяться?

С точки зрения интересов культуры он нападает и на «новейших индивидуалистов», и на «субъективистов», и на «оргиастов», на имитаторов и стилизаторов, на Кузмина и на «мистический анархизм».

## 6

Тон писаний А. Крайнего матовый, — не холодный и не горячий, а так, с пренебрежением и ленцой, будто ему все время приходится объяснять надоедливую таблицу умножения. Ну, кому еще придет в голову спорить, что дважды два не четыре, а пять, или стеариновая свечка, и кто еще может сомневаться в том, что

«над всеми этими (читай: современными) литературными произведениями, революционными и пустяковыми, над авторами и полуграмотными — стоит общий чад русской н е к у л ь т у р н о с т и».

В этом вся штука.

«Культурная среда», «работа духа» и, как их следствие (или, быть может, их неперемное условие), «религия» и «религиозная совесть». Так это или не так, но отказать в цельности и прочности такому мирозерцанию нельзя никак, хотя сейчас оно уже звучит знакомым мотивом, ибо мы еще хорошо помним и «Новый Путь», и «Вопросы Жизни».

Все-таки только при такой широте мысли А. Крайний мог всегда с такой легкой ясностью нападать на два фронта — одинаково на своих, как и на чужих. Только при своей критической чуткости он мог дать ряд тех метких литературных характеристик, которые потом оказались бесстыдно разворованными иными лекторами и иными критическими фельетонистами.

Для примера взять хотя бы того же Зайцева.

А. Крайний очень зорко подметил, что в его рассказах «нет ч е л о в е к а» (впоследствии это было переведено гг. Чуковскими как «крушение индивидуализма»), что у него есть последовательно: «хаос стихии, земля, тварь и толпа», — «дух безликий», и читатель вспомнит, как потом эту золотую мысль также вот разменяли на фельетонные пятаки и разбазарили на шумной ярмарке критического воровского невежества под именем «воблы».

Четыре года тому назад А. Крайний остроумно заметил, что «у лиц Горького нет лиц», а «все один и тот же Челкаш, или Фома, или Илья, — Челкашо — Фома — Илья, он же супруг Орлов».

И снова вы помните, как эта мысль по сходной цене пошла на тех же критических газетных аукционах и стала слыть тоже за мысль гг. Чуковских.

И т. д., и т. д., и т. д.

Но, конечно, и тут, и в этих нападениях и на Горького и, особенно, на его «босяков» А. Крайний был прав именно потому, что исходил от своей единой и огромной любви к «историзму», от своей мечты о «культуре», а те, которые запели с его голоса, едва ли и до сих пор знают, почему они запели.

Для А. Крайнего это логично. Еще бы, если он убежден вот даже в том, что совсем «нет настоящего момента» и притом «никогда нет» и даже «в природе нет», ибо «настоящее — точка, где соприкасаются и мгновенно узлом сплетаются прошлое и будущее».

Но, конечно, его перепевалам все это было неожиданно для них же самих.

Вот, вам и «глухое время»!

## 7

Нет, повторяю, оно не глухое, а именно глупое, хотя все-таки критика не пустыня и не вяла. Ведь и в самом деле А. Крайний не один сейчас, а если кому-нибудь вздумается и его корить в том, что сначала он Андреева хвалил и возлагал на него надежды, а потом охладел к нему и разбранил, то...

То, во-первых, я недавно прочитал у Антона Крайнего признание, что ему «надоело браниться и все отвергать», а, во-вторых, припоминаю отрывок из моей юношеской беседы с Львом Толстым.

Он спросил меня:

— Кто ваш любимый апостол?

— Петр, — ответил я.

Толстой не дал мне досказать:

— Да ведь это настоящий современный интеллигент, — с его сомнениями и постоянными колебаниями.

В самом деле, я не поздравил бы ни русскую интеллигенцию, ни русскую критику с неподвижностью и мумичностью, с самоуверенностью и успокоенностью.

Пусть тревожимся и ищем мы, изменяем и меняем суждения наши. Ведь и все эти тревоги, эти исканья, признанья и отреченья — все это особенно симптоматично для нас, и для нашего времени, и для того периода Sturm'a und Drang'a\*, который пронесся вихрем над нашими головами. А сейчас русской критике даже в лице ее наиболее беспокойных и беспокоящих представителей, думаю я, каяться не в чем и не за что краснеть.

Так не хулите ж так сердито нашу критику. Разброд в ней есть, нет согласия и согласованности, но ведь не об этом же грустить всерьез!

Сейчас у нас любопытное критическое время, интересная борьба, впереди большие радости, потому что большие находки.

Правда, мы все в разных углах сидим, мало верим в наше настоящее и, возможно, в свои собственные, — наши силы, много сердимся, немного лицемерим и в большинстве мало любим наше дело и ту русскую литературу, на служение которой следовало бы отдать все силы без остатка.

Все же у нас критика есть, хорошая, умная, пылкая и верующая, связанная корнями с прошлым, глядящая светлыми глазами в будущее. Правда, она очень немногочисленна, ибо большинство ее все же тускло и едва ли не ничтожно, но когда же была в с я критика и хороша, и зорка, и умна! А что в ее рядах теперь объявился новый тип критического хвастуна, благомера, или карьериста, то, поверьте, русской критике бояться его нечего, потому что она просто переживет его.

И было время, когда Сергею Городецкому существование критики было только приятно, и не так уж безнадежно было его ауканье с ней.



\* Бури и натиска (нем.).